

Содержание

А. Эфрон
Страницы воспоминаний
7

ТАЙНЫЙ ЖАР
13

НЕБО ПОЭТА
87

МНЕ НРАВИТСЯ, ЧТО ВЫ БОЛЬНЫ
НЕ МНОЙ
121

ПОБЕГ
197

Я БЛАГОДАРНА ПОЭТАМ
217

ПОЭМЫ
499

ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ ЗАПИСЕЙ
И АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
595

СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

КАКОЙ ОНА БЫЛА?

Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, была невелика ростом — 163 см, с фигурой египетского мальчика — широкоплеча, узкобедра, тонка в талии. Юная округлость ее быстро и навсегда сменилась породистой сухопаростью; сухи и узки были ее щиколотки и запястья, легка и быстра походка, легки и стремительны — без резкости — движения. Она смиряла и замедляла их на людях, когда чувствовала, что на нее смотрят или, более того, разглядывают. Тогда жесты ее становились настороженно скупы, однако никогда не скованны.

Строгая, стройная осанка была у нее: даже склоняясь над письменным столом, она хранила «стальную выправку хребта».

Волосы ее, золотисто-каштановые, в молодости вившиеся крупно и мягко, рано начали сесть — и это еще усиливало ощущение света, излучавшегося ее лицом — смугло-бледным, матовым; светлы и немеркнуци были глаза — зеленые, цвета винограда, окаймленные коричневатými веками.

Черты лица и контуры его были точны и четки; никакой расплывчатости, ничего недодуманного мастером, не пройденного резцом, не отшлифованного: нос, тонкий у переносицы, переходил в небольшую горбинку и заканчивался не заостренно, а укороченно, гладкой площадочкой, от которой крыльями расходились подвижные ноздри, казавшийся мягким рот был строго ограничен невидимой линией.

Две вертикальные бороздки разделяли русые брови.

Казавшееся завершенным до замкнутости, до статичности, лицо было полно постоянного внутреннего движения, потаенной

выразительности, изменчиво и насыщено оттенками, как небо и вода.

Но мало кто умел читать в нем.

Руки были крепкие, деятельные, трудовые. Два серебряных перстня (перстень-печатка с изображением кораблика, агатовая гемма с Гермесом в гладкой оправе, подарок ее отца) и обручальное кольцо — никогда не снимавшиеся, не привлекали к рукам внимания, не украшали и не связывали их, а естественно составляли с ними единое целое.

Голос был девически высок, звонок, гибок.

Речь — сжата, реплики — формулы.

Умела слушать; никогда не подавляла собеседника, но в споре была опасна: на диспутах, дискуссиях и обсуждениях, не выходя из пределов ледяной учтивости, молниеносным выпадом сражала оппонента.

Была блестящим рассказчиком.

Стихи читала не камерно, а как бы на большую аудиторию.

Читала темпераментно, смыслово, без поэтических «подвываний», никогда не опуская (упуская!) концы строк; самое сложное мгновенно прояснялось в ее исполнении.

Читала охотно, доверчиво, по первой просьбе, а то и не дожидаясь ее, сама предлагая: «Хотите, я вам прочту стихи?»

Всю жизнь была велика — и неудовлетворенна — ее потребность в читателях, слушателях, в быстром и непосредственном отклике на написанное.

К начинающим поэтам была добра и безмерно терпелива, лишь бы ощущала в них — или воображала! — «искру божью» дара; в каждом таком чувала собрата, преемника — о, не своего! — самой Поэзии! — но ничтожества распознавала и беспощадно развенчивала, как находившихся в зачаточном состоянии, так и достигших мнимых вершин.

Была действительно добра и щедра: спешила помочь, выручить, спасти — хотя бы подставить плечо; делилась последним, наинужнейшим, ибо лишним не обладала.

Умея давать, умела и брать, не чинясь; долго верила в «круговую поруку добра», в великую, неистребимую человеческую взаимопомощь.

Беспомощна не была никогда, но всегда — беззащитна.

Снисходительная к чужим, с близких — друзей, детей — требовала как с самой себя: непомерно.

Не отвергала моду, как считали некоторые поверхностные ее современники, но, не имея материальной возможности ни создавать ее, ни следовать ей, брезгливо избегала нищих под нее подделок и в годы эмиграции с достоинством носила одежду с чужого плеча.

В вещах превыше всего ценила прочность, испытанную временем: не признавала хрупкого, мнущегося, рвущегося, крошащегося, уязвимого, одним словом — «изящного».

Поздно ложилась, перед сном читала. Вставала рано.

Была спартански скромна в привычках, умеренна в еде.

Курила: в России — папиросы, которые сама набивала, за границей — крепкие, мужские сигареты, по полсигареты в простом, вишневом мундштуке.

Пила черный кофе: светлые его зерна жарила до коричнево-сти, терпеливо молола в старинной турецкой мельнице, медной, в виде круглого столбика, покрытого восточной вязью.

С природой была связана воистину кровными узами, любила ее — горы, скалы, лес — языческой обожествляющей и вместе с тем преодолевающей ее любовью, без примеси созерцательности, поэтому с морем, которого не одолеть ни пешком, ни вплавать, не знала что делать. Просто любоваться им не умела.

Низменный, равнинный пейзаж удручал ее, так же как сырые, болотистые, камышовые места, так же как влажные месяцы года, когда почва становится недостоверной под ногой пешехода, а горизонт расплывчат.

Навсегда родными в памяти ее остались Таруса ее детства и Коктебель — юности, их она искала постоянно и изредка находила в холмистости бывших «королевских охотничьих угодий» Медонского леса, в гористости, красках и запахах Средиземноморского побережья.

Легко переносила жару, трудно — холод.

Была равнодушна к срезанным цветам, к букетам, ко всему, распускающемуся в вазах или в горшках на подоконниках; цветам же, растущим в садах, предпочитала, за их мускулистость и долговечность, — плющ, вереск, дикий виноград, кустарники.

Ценила умное вмешательство человека в природу, его сотворчество с ней: парки, плотины, дороги.

С неизменной нежностью, верностью и пониманием (даже почтением!) относилась к собакам и кошкам, они ей платили взаимностью.

В прогулках чаще всего преследовала цель: дойти до..., возвратиться на...; радовалась более, чем купленному, «добычке»: собранным грибам, ягодам и, в трудную чешскую пору, когда мы жили на убогих деревенских окраинах, — хворосту, которым топили печи.

Хорошо ориентируясь вне города, в его пределах теряла чувство направления, плутала до отчаяния даже в знакомых местах.

Боялась высоты, многоэтажности, толпы (давки), автомобилей, эскалаторов, лифтов. Из всех видов городского транспорта пользовалась (одна, без сопровождающих) только трамваем и метро. Если не было их, шла пешком.

Была не способна к математике, чужда какой бы то ни было техники.

Ненавидела быт — за неизбежность его, за бесполезную повторяемость ежедневных забот, за то, что пожирает время, необходимое для основного. Терпеливо и отчужденно перевозмогала его — всю жизнь.

Общительная, гостеприимная, охотно завязывала знакомства, менее охотно развязывала их. Обществу «правильных людей» предпочитала окружение тех, кого принято считать чужаками. Да и сама слыла чуждачкой.

В дружбе и во вражде была всегда пристрастна и не всегда последовательна. Заповедь «не сотвори себе кумира» нарушала постоянно.

Считалась с юностью, чтילה старость.

Обладала изысканным чувством юмора, не видела смешного в явном — или грубом — смешном.

Из двух начал, которым было подвластно ее детство — изобразительные искусства (сфера отца) и музыка (сфера матери), — восприняла музыку. Форма и колорит — достоверно осязаемое и достоверно зримое — остались ей чужды. Увлечься могла только сюжетом изображенного — так дети «смотрят картинки», — поэтому, скажем, книжная графика и, в частности, гравюра (любила Дюрера, Доре) была ближе ее духу, нежели живопись.

Ранняя увлеченность театром, отчасти объяснявшаяся влиянием ее молодого мужа, его и ее молодых друзей, осталась для нее, вместе с юностью, в России, не перешагнув ни границ зрелости, ни границ страны.

Из всех видов зрелищ предпочитала кино, причем «говорящему» — немое, за большие возможности со-творчества, со-чувствия, со-воображения, предоставлявшиеся им зрителю.

К людям труда относилась — неизменно — с глубоким уважением собрата; праздность, паразитизм, потребительство были органически противны ей, равно как расхлябанность, лень и пустозвонство.

Была человеком слова, человеком действия, человеком долга. При всей своей скромности знала себе цену.

КАК ОНА ПИСАЛА?

Отметя все дела, все неотложности, с раннего утра, на свежую голову, на пустой и поджарый живот.

Налив себе кружечку кипящего черного кофе, ставила ее на письменный стол, к которому каждый день своей жизни шла, как рабочий к станку — с тем же *чувством ответственности*, неизбежности, невозможности иначе.

Все, что в данный час на этом столе оказывалось лишним, отодвигала в стороны, освобождая, уже машинальным движением, место для тетради и для локтей.

Лбом упиралась в ладонь, пальцы запускала в волосы, сосредоточивалась мгновенно.

Глохла и слепла ко всему, что не рукопись, в которую буквально впивалась — острием мысли и пера.

На отдельных листах не писала — только в тетрадях, любых — от школьных до гроссбухов, лишь бы не расплывались чернила. В годы революции шла тетради сама.

Писала простой деревянной ручкой с тонким (школьным) пером. Самопишущими ручками не пользовалась никогда.

Временами прикуривала от огонька зажигалки, делала глоток кофе. Бормотала, пробуя слова на звук. Не вскакивала, не расхаживала по комнате в поисках ускользающего — сидела за столом, как пригвожденная.

Если было вдохновение, писала *основное*, двигала вперед замысел, часто с быстротой поразительной; если же находилась в состоянии *только* сосредоточенности, делала черную работу поэзии, ища *то самое* слово-понятие, определение, рифму, отсекая от уже готового текста то, что считала длиннотами и приблизительноностями.

Добиваясь точности, единства смысла и звучания, страницу за страницей исписывала столбцами рифм, десятками вариантов

строф, обычно не вычеркивая те, что отвергала, а — подводя под ними черту, чтобы начать новые поиски.

Прежде чем взяться за работу над большой вещью, до предела конкретизировала ее замысел, строила план, от которого не давала себе отходить, чтобы вещь не увлекла ее по своему течению, превратясь в неуправляемую.

Писала очень своеобразным круглым, мелким, четким почерком, ставшим в черновиках последней трети жизни трудно читаемым из-за нарастающих сокращений: многие слова обозначаются одной лишь первой буквой; все больше рукопись становится *рукописью для себя одной*.

Характер почерка определился рано, еще в детстве.

Вообще же, небрежность в почерке считала проявлением оскорбительного невнимания пишущего к тому, кто будет читать: к любому адресату, редактору, наборщику. Поэтому письма писала особенно разборчиво, а рукописи, отправляемые в типографию, от руки перебеливала печатными буквами.

На письма отвечала, не мешкая. Если получала письмо с утренней почтой, зачастую набрасывала черновик ответа тут же, в тетради, как бы включая его в творческий поток этого дня. К письмам своим относилась так же творчески и почти так же взыскательно, как к рукописям.

Иногда возвращалась к тетрадям и в течение дня. Ночами работала над ними только в молодости.

Работе умела подчинять любые обстоятельства, настаиваю: *любые*.

Талант трудоспособности и внутренней организованности был у нее равен поэтическому дару.

Закрыв тетрадь, открывала дверь своей комнаты — всем заботам и тяготам дня.

Ариадна Эфрон

ТАЙНЫЙ ЖАР

* * *

Моим стихам, написанным так рано,
Что и не знала я, что я — поэт,
Сорвавшимся, как брызги из фонтана,
Как искры из ракет,

Ворвавшимся, как маленькие черти,
В святилище, где сон и фимиам,
Моим стихам о юности и смерти,
— Нечитанным стихам!

Разбросанным в пыли по магазинам,
Где их никто не брал и не берет,
Моим стихам, как драгоценным винам,
Настанет свой черед.

*Коктебель,
13 мая 1913*

* * *

Солнцем жилки налиты — не кровью —
На руке, коричневой уже.
Я одна с моей большой любовью
К собственной моей душе.

Жду кузнечика, считаю до ста,
Стебелек срываю и жую...
— Странно чувствовать так сильно и так просто
Мимолетность жизни — и свою.

15 мая 1913

* * *

Вы, идущие мимо меня
К не моим и сомнительным чарам, —
Если б знали вы, сколько огня,
Сколько жизни, растроченной даром,

И какой героический пыл
На случайную тень и на шорох...
— И как сердце мне испепелил
Этот даром истраченный порох!

О летящие в ночь поезда,
Уносящие сон на вокзале...
Впрочем, знаю я, что и тогда
Не узнали бы вы — если б знали —

Почему мои речи резки
В вечном дыме моей папиросы, —
Сколько темной и грозной тоски
В голове моей светловолосой.

17 мая 1913

* * *

Два солнца стыннут — о Господи, пощади!
Одно — на небе, другое — в моей груди.

Как эти солнца — прощу ли себе сама? —
Как эти солнца сводили меня с ума!

И оба стынут — не больно от их лучей!
И то остынет первым, что горячей.

6 октября 1915

* * *

Цветок к груди приколот,
Кто приколол, — не помню.
Ненасытим мой голод
На грусть, на страсть, на смерть.

Виолончелью, скрипом
Дверей и звоном рюмок,
И лязгом шпор, и криком
Вечерних поездов,

Выстрелом на охоте
И бубенцами троек —
Зовете вы, зовете
Нелюбленные мной!

Но есть еще улада:
Я жду того, кто первый
Поймет меня, как надо —
И выстрелит в упор.

22 октября 1915

* * *

Цыганская страсть разлуки!
Чуть встретишь — уж рвешься прочь!
Я лоб уронила в руки,
И думаю, глядя в ночь:

Никто, в наших письмах роясь,
Не понял до глубины,

Как мы вероломны, то есть —
Как сами себе верны.

Октябрь 1915

* * *

Полнолуние, и мех медвежий,
И бубенчиков легкий пляс...
Легкомысленнейший час! — Мне же
Глубочайший час.

Умудрил меня встречный ветер,
Снег умилоствовал мне взгляд,
На пригорке монастырь светел
И от снега — свят.

Вы снежинки с груди собольей
Мне целовываете, друг,
Я на дерево гляжу, — в поле
И на лунный круг.

За широкой спиной ямщицкой
Две не встретятся головы.
Начинает мне Господь — сниться,
Отоснились — Вы.

27 ноября 1915

* * *

Руки даны мне — протягивать каждому обе,
Не удержать ни одной, губы — давать имена,
Очи — не видеть, высокие брови над ними —
Нежно дивиться любви и — нежней — нелюбви.

А этот колокол там, что кремлевских тяжёле,
Безостановочно ходит и ходит в груди, —

